

РОДИТЕЛИ

Восемь часов вечера. На дворе – мороз, идет снег, вот уже пятый день. В столовой купца Ивана Трифоныча Егорова тепло и уютно. Ставни с улицы давно уже закрыты и укреплены болтами; посредине комнаты, на круглом столе шумит самовар, выпуская вверх пар; над столом горит висючая лампа с молочным абажуром и отражается в окнах, стаканах, в кафельной печи... За столом, друг против друга, сидят и пьют чай вприкуску сам хозяин, Иван Трифоныч, маленький старичок, с виноватыми, слезящимися глазами, и гость Михайло Михайлович, тоже купец, его ближайший приятель и кум, – человек, наоборот, огромного роста, заросший весь волосами, в очках, которые в аптекарских магазинах называют «консервами». У печи приютилась жена Ивана Трифоныча, старушка в черном платке, такая же маленькая и сморщенная, как он; сидит согнувшись и вяжет чулок, быстро двигая спицами.

Егоров всю жизнь торговал кожами и готовой обувью, нажил большие деньги, теперь уже бросил торговлю и славится в городе тем, что много заботится о душе и жертвует на дешевые столовые и ночлежные дома. Со всеми он всегда ладил, покупатели любили его за тихий, уступчивый характер, и торговля шла на славу. Михайло Михайлович наоборот: торгует и до сих пор, но ему не везет, и он постоянно переучитывает векселя, ворча, что в России нельзя вести правильной торговли и не прыгать с крыш, то есть не банкротиться. Но зато он славится и уважаем в округе за свою образованность: он выписывает дешевые газеты, спорит со старообрядцами о перстосложении, и даже, когда единственный сын Ивана Трифоныча, Александр, будучи студентом, приезжал домой из Питера, Михайло Михайлыч обстоятельно разъяснял ему, почему слово хлѣб пишется через ъ. Но самым главным и удивительным его достоинством было то, что имена всех православных святых он знал по дням года; стоило спросить: «А такого-то числа каких преподобных?» – и Михайло Михайлыч, немножко подумав, говорил безошибочно. Однажды архиерей, ездивший по ревизии, узнал об этом, призвал его к себе и, проэкзаменовав по святцам, очень удивился и сказал:

– Ну, память! Для государственного мужа это было бы весьма величайшее облегчение.

С тех пор Михайло Михайлович еще больше гордится собой... Если бы в городе была дума, то его непременно избрали бы в головы.

В большом бездетном доме Ивана Трифоныча полнейшая тишина. Освещена только столовая, а остальные комнаты погружены во мрак. Слышно только, как в зале попискивает канарейка да часы иногда отбивают время. И среди этой тишины густой бас Михаила Михайлыча, медленный, рассудительный, кажется толстым канатом, который беспрестанно разворачивается и все тянется, тянется; так что не знаешь, когда ему будет конец...

– Конечно, – говорит он, выбирая ложечкой варенье из стакана, – если посмотреть на твоего сына Александра, а моего крестника, не прилагая особого умственного рассуждения, то, оно конечно... Проживает он в столице Российской Империи, занимается писанием рассказов и прочих светских сочинений, включая сюда и стихосложение, и получает за это деньги. Прекрас-

но! Это, конечно, так... С точки зрения материальной, за что бы ты ни получал деньги, – лишь бы получал. И твой сын Александр Иванович, как ты сам неоднократно говорил мне в наших дружеских беседах, зарабатывает в месяц рублей сто восемьдесят – двести...

– А уж это какой месяц, батюшка, – отозвалась старуха, – какой месяц! А то и двести пятьдесят выгоняет.

– А то и двести пятьдесят выгоняет... – подтвердил Иван Трифонович. – Месяц на месяц не приходится...

– Прекрасно, мать, прекрасно... Пусть будет двести пятьдесят! Деньги, конечно, хорошие, что и говорить! Но все не то, что состоять на государственной службе! Не то! Там ты служишь, и не только что в настоящем, скажем, жалованье получаешь, столовая, квартирный, отопление, освещение и все прочее, но и в будущем себе уготовишь: в отставку выйдешь – пенсион тебе по основным учреждениям и законодательствам полагается. Как первое число подошло, отправляйся, сударь мой, в государственное казначейство, и только труда тебе, что расписаться в получении. Получил, мол, следуемый мне и так далее...,

– Ну-у! – протянула старуха, кланяясь ему. – У нас, батюшка, своих четыреста тысяч в банке лежит: все Сашеньке! Детей у нас нет... А дом-то! Во какой! Умрем – квартирантов пустит – и то пятьсот, а то и больше получать будет...

– Скажем, денжищ у вас пропасть! – соглашается Михайло Михайлович, и по лицу его пробегает легкая тень зависти, но сейчас же сменяется прежним задором: он хитро шурит глаз и пристукивает пальцем по столу. – Ну, а скажи-ка мне, матушка, что, состоя в оных сотрудиках и литераторах разных ежедневных, еженедельных и ежемесячных журналов, можно ли, например, чинов добиться? Можно ли быть удостоенным причисления к чину четырнадцатого класса, губернского секретаря, скажем? Ага! Можно ли, состоя в оных литераторах и стихотворцах, быть сопричисленным к ордену, хотя быть святыя Анны третьей степени? Ага! Да ты хоть сорок тысяч рассказов напиши золотыми буквами, а ничего не добьешься. Потому, государыня моя, частная служба. Что конторщик у тебя, бывало, счета писал и ты его могла ругать на все корки, – то и писатель. Даже, мать моя, формы никакой ему не полагается. Да. Поезжай-ка в Москву: там увидишь их тьму-тьмущую! И все смотришь, из дворяншков каких промотавшихся да из поповичей, семинарского звания. Право. Гольтьба! Какому-нибудь писцу штатному в казенной палате и кокарда полагается, и золотая пуговицы... Приди ты к нему в канцелярию, он накричит на тебя, и слова ему супротив не скажешь. Потому чин! Барин! Муж государственный! Персона! А писателю – ничего. Что писатель, что аптекарь – одна честь. Ходи в шляпе, и никаких. Ага? То-то оно и есть!

Михайло Михайлыч отгрыз кусочек сахару и принялся за чай. Было видно, когда он громко тянул с блюдечка, что какие-то новые мысли, новые аргументы рождаются теперь в его мозгу и только ждут, когда хозяин их, наконец, освободит рот от посторонних занятий, чтобы сейчас же вылететь на свободу, – и Михайло Михайлович улыбался им, лукаво шурился, чувствуя,

какой эффект они должны сейчас произвести. Не было такого в мире занятия, ремесла, которого бы он не оценивал со своей точки зрения, строго практической, – и поэтому все, например, художники для него были возможны и он соглашался признать их полезными людьми лишь постольку, поскольку они могли писать иконы и вывески; музыканты – играть на свадьбах, управлять хорами и сочинять новые херувимские. На театр он глядел как на баловство, и актеров величал развратниками; а про беллетристику презрительно отзывался: «Романы!»

Допив чай, он перевернул стакан вверх дном, на котором положил оставшийся мокрый кусочек сахара, погладил бороду и, улыбнувшись, начал опять:

– Сашенька-то твой простой человек, нехитрый... Хотя и университет окончил, высшее, скажем, учебное заведение, которых на всю Россию девять зданий полагается. Весь вот в него, в старика, пошел. Такой же! Воды не помутит. А ты на других писателей посмотри. Вот тебе Толстой граф! Он, матушка моя, сначала до графов дошел, а потом уже и за письмо принялся. На гулянках, так сказать, на досуге, от нечего делать. И пишет! Говорят, умно пишет, замечательно пишет! Все газеты так и трубят. Заграничные люди и то удивляются. Как это, мол, в такой дикой и необразованной стране и такое вдруг, наше вам, писатель! Хорошо-с. Слышу я такие речи, беру повесть одну его сочинения и читаю, конечно. Читаю внимательно, вслух, наострив весь свой мозг. Повесть про хозяина и работника. Ну, думаю, вот сейчас планы разведет, как оно и что. Граф! А повесть угадай о чем написана? – Михайло Михайлыч усмехнулся. – Пишет это он, как мужик лошадь на дворе запрягал, потом они поехали степью; описывает, как мятель поднялась и как хозяин замерз, а работник жив остался. А ехали-то они лес покупать! И все?! Старый человек, а такие повести и рассказы пишет! Ну что тут особенного? Замерз и замерз. Ну, царство тебе небесное!

Мало ли народу всякого звания зимой замерзает? Какой в этом особенный сюжет? На то она и зима. Все, значит, и описывай?

– А тут, может, нравоучение молодым людям... – упрямо качнув головой, заметила старуха. – Не ездей, значит, в мятель, погляди, батюшка, сначала на небо да одеждой теплой запасись хорошенько. И к месту, значит, сочинение выходит. Ты в разум возьми!

Михайло Михайлыч досадливо поморщился.

– Ну, скажем, это так... А твой сын, Александр Иванович, такое, мать моя, пишет, что считаешь и удивишься: неужели этому...

Но тут Михайло Михайлыч внезапно смолк, так как Иван Трифоньч, встревоженный, умоляюще глядел на него и делал из-за самовара знаки, чтобы замолчать. Он смутился, густо покраснел, неловко погладил бороду и заметил совершенно иным тоном:

– Погода-то... разыгрывается... Почты уже другой день нет. В северных странах при таких обстоятельствах костры на улицах зажигают. Проходящий народ идет и греется.

Наступает молчание. Михайло Михайлович стучит ложечкой по блюдцу и не моргая смотрит в темное, точно отлакированное окно, в котором от-

разилась и лампа, и самовар, и белая дверь. Иван Трифоныч облокотился на стол и задумался. Старуха по-прежнему вяжет чулок и улыбается чему-то далекому-далекому. А на дворе мало-помалу поднимается ветер, и слышно, как он то ставней рванет, то загудит в трубе и со свистом пронесется по крыше. Маленький, сонный городок теперь весь занесен снегом, и кажется, что он, в поисках тепла и уюта, еще больше прижался к земле своими деревянными, покривившимися домиками... Темно, на улицах нет никого... И только кое-где, через отверстие в ставне пробивается робкая полоска света, причудливо отражаясь на высоких сугробах...

Приходит кухарка Марья, босая, с засученными рукавами, убирает остывший самовар, и тень ее тоже отражается в окне... А три человека все сидят, о чем-то думают, и медленно тянется не заполненное ничем время.

Наконец в зале часы степенно, по-купчески, отбивают девять...

– Охо-хо-хо!.. – вздыхает Михайло Михайлыч и потягивается, забрасывая назад руки. – Засиделся я... Идти надо, идти... Ребята небось уже затворили... Сказывают, будто купец незнакомый из Астрахани приехал, фамилие чудное... Не то Боболеев, не то Околеев... Чудное! Д-да... Сегодня у нас восемнадцатое? Восемнадцатое! Завтра, значит... Завтра, значит... – И он, прищурив глаз, о чем-то напряженно задумался. – Завтра, значит, пророка Авдия и мученика Авраама. До рождества еще целый месяц... О-хо-хо-оо!.. Ну, прощай, мать!.. Вяжи чулок хорошенько...

– Прощай, батюшка, прощай! Заходи вечерком...

– Зайду, зайду... И то каждый вечер хожу...

Иван Трифоныч зажег свечу и пошел проводить его по темным комнатам до передней. Там Михайло Михайлович облачился в свою огромную волчью шубу, спрятавшую его всего, и еще для чего-то замотал шарфом шею, и тень его, занявшая всю комнату, беспокойно колыхалась на потолке и на стенах. Иван Трифоныч, стоя перед ним со свечкой в руках, долго мялся и наконец сказал нерешительно, чуть слышно:

– Сколько раз я, Миша, просил тебя! Не говори ты, создателя ради, о чем пишет Сашенька. Ведь она, мать, дура неграмотная. Ведь она помрет, если узнает. Я уже и то всяческими силами стараюсь скрыть от ней. Всяческими силами, братец!

И он выпустил его в дверь. Порыв ветра затушил свечу и обдал старика холодом. И уже из темноты, с порога, раздался бас Михаила Михайлыча, застенчивый, виноватый :

– Все, брат, забываю... Увлекаюсь... Неправильное функционирование памяти и других головных сосудов. Не буду больше.

– Не надо, братец, не надо... Зачем беспокоить ее? Она дура, неграмотная...

Иван Трифоныч запер за ним дверь, потрогал замок, крепок ли, и осторожно, ощупью, воротился в темные, чуть освещенные комнаты... И в зале и в гостиной горят перед образами дорогие, массивные лампы, а из столовой в гостиную, через отворенную дверь падает широкая полоса света, ярко выделяя у порога блестящий кусок паркетного пола...

Делать нечего... И вот каждый вечер, проводив кума, Иван Трифоныч

ходит по этим темным, чуть освещенным комнатам и думает... Слышно, как в столовой Марья накрывает ужин и, гремя тарелками, говорит:

– У Петровых опять собака воет. Старик, верно, кончится скоро... Соборовали уже два раза. Мятель!..

Что-то отвечает старуха, и разговор затевается у них длинный, мирный...

А он все ходит, ходит... Большие комнаты, тишина, одиночество, старость, большое состояние – так не нужны, тяжелы для него... Где-то назади, далеко, как пройденная дорога, протянулся длинный и бесцельный трудовой век, дни которого так похожи друг на друга. Где же радость? Где счастье? Почему его не охватывает трепет при мысли, что в банке, как должный и достойный результат этого труда, лежат четыреста тысяч?

– Купцу надо детей иметь, много детей... – вспоминает он слова Михаила Михайлыча. – Потому купец без детей как змей без хвоста.

Старик закрывает глаза, и перед ним, как живой, вырастает Сашенька со своим обычным, грустным и задумчивым лицом. Для него нажиты деньги, но почему он никогда не говорит, не пишет о них? С тех пор как его отправили в университет, он сделался чужим для их дома. Не успевал, бывало, приехать на каникулы, как через неделю его снова тянуло в Питер: глаза делались вялыми, сонными, и он говорил:

– Скучно у вас, папаша, скучно! В Питер надо ехать: там люди, газеты, опера, там жизнь! А здесь... глушь, акцизные чиновники какие-то...

Его собирали, провожали на вокзал, и там, стоя на платформе, он, казалось, понимал полные ласковой любви тоску и грусть стариков и говорил:

– Жалко мне вас, ей-богу! Одни вы! И зачем вы меня учили? Мне бы тогда не было скучно здесь! Жил бы с вами, торговал...

А когда трогался поезд, он, уже веселый, улыбающийся, махал им платком из вагона и кланялся; а они смотрели ему вслед, и в голове Ивана Трифоныча бессмысленно вертелись слова: «Люди, газеты, опера...» И хотелось сказать старухе, что Сашенька для них чужой человек теперь...

Вспоминает старик, как это сознание росло в нем все больше и больше, когда Саша окончил курс и приезжал к ним уже не в студенческой форме, а в штатской, красиво облегавшей его паре. Он возмужал, выросла борода, усы сделались длинными и красивыми. Взгляд стал еще глубже, серьезнее и как-то грустнее. Все думали, что Сашенька теперь поступит на службу, будет судебным следователем или адвокатом; а он как-то после обеда позвал отца в кабинет и, протягивая ему газету, казал:

– Вот видишь? В этом номере напечатан мой рассказ. Прочти-ка! И смотри! Видишь? Подпись «А. Егоров». – И он ногтем придавил то место. – Теперь я, брат, литератор...

Он спросил: «А на службу? не думаешь поступать?» Саша только усмехнулся и через два дня уехал, и опять, когда они, провожая, стояли на платформе, в голове Ивана Трифоныча вертелись слова: «Люди, газеты, опера...» И было ясно, что какие-то люди, газеты, опера отнимают у них сына и что, в сущности, не надо было целый век гнуть спину, трудиться, наживать четыреста тысяч.

И вот, шесть месяцев тому назад, на имя Ивана Трифоныча пришла из Петербурга заказная бандероль. В ней была вложена небольшая желтенькая книжка, на обложке которой, вверху, отдельно и ясно, было напечатано: «Александр Егоров», а пониже, еще крупнее, во всю ширину листа, стояло: «Рассказы». У старика задрожали руки... Саша написал целую книгу! С гордостью он подал ту книгу старухе и сказал, волнуясь:

– Вот, мать, Саша-то! Книга-то! Его сочинение! Старуха, неграмотная, ласково улыбаясь, вертела книгу в руках, перелистывала неразрезанные листы, и на глазах у нее блестели слезы.

– Это что же? – спросила она. – Из своей головы Сашенька написал или так?

– Нет! – гордо усмехнулся старик. – У соседа ходил голову занимать!

И она долго, точно силясь понять и разобрать те длинные и черные строки, которые прежде чем попасть в книгу, были в голове Сашеньки, всматривалась в них и вздыхала: зачем она не умеет читать!

Он отлично помнит, как в тот же день он благоговейно разрезал желтенькую книжку, потом отвернул первый лист и начал читать... И помнит он, как чем дольше читал страницы, написанные рукой его сына, тем более и более росло в нем недоумение, и в то же время какой-то необъяснимый страх охватывал его.

«Зачем он это пишет? – вертелись в голове беспокойные думы. – Зачем он пишет об этом?»

Неужели в столицах только и замечательного, что падшие женщины, вертепы всякие, пьяные, разгульные ночи, побоища? Во втором рассказе Сашенька описывал каких-то маляров, грязных, оборванных, ругающихся между собой. В третьем рассказывал про студента, который пил водку и сделался босяком. И вся книжка об этом. О тех мерзких, продажных женщинах, имя которых никогда не произносилось в их благочестивой, богобоязненной семье, о которых боялись думать, – Сашенька говорил публично, в печатной книжке, так же просто, как о хороших купцах или почетных гражданах. Записывал речи маляров, рисовал жизнь падших женщин, их слезы, страдания. И неужели Сашенька, этот милый и чистый, на которого когда-то ветрам не позволяли дуть, знаком со всей этой грязью, ходит в дома, участвует, быть может, и сам в этих разгулах? Да и наверное участвует, – иначе он и не знал бы этой жизни, не описывал бы ее так подробно, с такой жалостью, с такой грустью, от которой при чтении душа сжимается, на глазах навертываются слезы и делается стыдно, что на свете есть нужда, такая огромная, гнетущая, а у тебя в банке лежат без дела четыреста тысяч и ты, только вдвоем, живешь в большом, просторном доме, ешь каждый день вкусные обеды и пьешь чай с сухарями утром и вечером. А люди, несчастные, забитые, ожесточаются, называют жизнь бессмысленной, жестокой, проклинаят ее, заливают горе вином, и их тащат в участок, бьют сапогами по лицу; а проснувшись поутру, они плачут, и опять с прежней силой на их плечи наваливается старая тоска, и в то же время, такие жалкие и несчастные, они не верят в бога, в ангелов-хранителей, посылаемых каждой душе христианской, ни в загробную жизнь, ни в причастие. И старик здесь возмущался... Он знал и мог согласиться, что

можно скучать и тосковать, если подойдет глухая, одинокая старость, если около тебя не улыбается молодое, милое лицо, для которого жил, трудился, – но говорить о тоске и скуке жизни, о ее бесцельности, когда на небе есть милосердный бог, который все даст, все пошлет, все простит, припади только с верою пред его распятием; когда будет святая загробная жизнь, ради которой целые миллионы людей молятся, постятся, отрекаются от земной жизни, живут в пещерах и спят в гробах; когда настанет час, в который все умершие восстанут, и оживут, и услышат глас сына божия, – это для него казалось диким и нелепым. Прежде он знал, что Саша далек от него, чужд ему; а теперь стало ясно и то, что Саша сбился с дороги, пошел не по тому пути, стал, быть может, несчастным человеком... То же самое говорил и Михайло Михайлович.

И теперь, каждый вечер, напившись чаю, Иван Трифоныч ходит сгорбившись по ковровой дорожке из залы в гостиную и думает. Где Саша? Может быть, он сейчас сидит где-нибудь в притоне и говорит, как пьяный студент в его книжке, о том, что нет бога, что жизнь скучна и мерзка? Может быть, он тоскует и пьет водку, плачет? И старик чувствовал, что эти думы съедают его, как огонь свечу. Пусть Саша не хочет земного счастья, пусть не нужны ему родители, чины, ордена; но зачем он душу свою губит? Сколько раз хотел он написать ему в Петербург, чтобы он верил в бога, не забывал его, молился ему, – брал перо, долго смотрел в чистую бумагу, которую раскладывал перед собой, и не находил слов.

Долго ходит старик. И когда сердце его заполняется тоской и отчаянием, когда ему трудно становится дышать и по лицу льются слезы, – он близко подходит к темным образам, в которых скрывается счастье и его, и сына, и всего мира; долго глядит в пятно, отраженное стеклом от красного света дорогих хрустальных лампад, – и шепчет свою заветную думу:

– Господи! Господи! Батюшка! На тебя одна надежда моя! На тебя! Пошли ты ему, милостивый, веру в тебя! Укрой его! Упаси его!

И слезы бегут по щекам веселыми капельками...

– Старик! Старичок! – раздается вдруг из гостиной ласковый голос:

– Ужинать иди! Уже готово.

Иван Трифоныч вздрогнул, быстро вытер лицо и откликнулся:

– Иду! Иду!

На пороге, в полосе света, которую бросала из столовой лампа, стояла старуха и улыбалась ему навстречу.

– Опять, опять, старичок? – с ласковым укором сказала она, замечая, что глаза его красны. – Ну зачем, зачем это? Зачем, дорогой мой, старичок мой? Опять тоскуешь? Ведь Сашенька приедет к нам! Он будет с нами! Вот поверь мне! Чем хочешь отвечаю тебе: он будет с нами! И мы, все трое, будем жить в этом доме, тихо, мирно. Мы с тобой тихонько будем доживать век свой, а он будет писать свои рассказы. Теперь ты читаешь их, а тогда он сам будет читать их. Он приедет к нам! Приедет... Ведь в Питере жить плохо, ему там не нравится, – я знаю, знаю! А у нас придет весна, зацветут яблони, вишни, на пруду заколосятся камыши, – он это любит, он говорил мне. И говорил он мне, что звезды у нас серебряные, яркие, – а там, в Питере, не ви-

дать их из-за домов; а если и увидишь, то оне маленькие, тощие, чуть видные... Как же он будет жить? Чудачок ты этакий! А ты тоскуешь... Эх, ты!

Иван Трифоныч с улыбкой смотрел на нее, на ее верящие, ласковые глаза, и ему стало легко.

– Ну, ну, хорошо! – сказал он. – Пусть едет! пусть! Места у нас много, дом большой, тихий...

После ужина Марья быстро прибирает со стола посуду, вытирает тряпкой клеенку и застилает ее поверх скатертью, а потом одергивает свои рукава и садится в уголку комнаты.

– Ну, что же? – говорит Иван Трифоныч, лукаво улыбаясь и чувствуя себя господином положения. – Надо ночь делить. Стели-ко, Марьюшка, постельку! да баиньки! на покой!

– Ну-у, Иван Трифоныч! – разочарованно протягивает старуха. – Спать! С этих пор, с десяти часов! Еще успеешь: ночь – год. Наспишься! Ты почитай нам лучше Сашенькину книжку...

– Да ведь и так всю прочитали! – говорит Иван Трифоныч. – Самая малость осталась до конца.

– Ну, да! малость! Рассказывай! Эх, будь я грамотная!.. Не стала бы просить! Сама бы так отчитывала, что мое вам почтение! Сходи-ко в кабинет, Марьюшка, принеси книжку-то! Знаешь, желтенькая, с краю на этажерке лежит...

– Знаю, знаю! – говорит Марья и исчезает за дверью, громко шлепая по полу босыми ногами.

– Эх, будь я грамотная!.. – задумчиво повторяет старуха, и глаза ее загораются. – Да я бы!.. – Она машет рукой и останавливается, в бессилии выразить то, что сделала бы тогда. – Я бы каждый день ему письма писала! И такое бы писала, что ах! Сказать не могу! Мне тоже скучно, старик! И как скучно бывает-то! До краев душа переполняется! И ничего сделать с собой не можешь... А иногда как подумаю, да посмотрю на свет божий, да гляну на небо, а там божьи звездочки теплятся, да месяц погуливает, да тучки несутся, – и такой радостью тогда загорится сердце мое! И тогда я не только тебя люблю, Сашеньку, Марью, дом наш, – а и Петербург люблю, и Москву люблю, и все, все я люблю! И вот тогда хочется мне Сашеньке писать письма! Очень хочется! И не умею! Не умею, старик!

Иван Трифоныч глядит на нее, улыбается и думает, как похож на нее был Сашенька, когда говорил ему, что он теперь будет в газетах писать и на службу не поступит. Глаза у него были точь-в-точь такие, как сейчас у старухи: так же горели, блестели, так же размахивал он руками... Точь-в-точь! И Ивану Трифонычу становится почему-то весело.

Но вот по залу опять раздается шлепанье босых ног, и в комнате появляется Марья с книжкой в руках. На лице ее изображается необычайно торжественное выражение и удовольствие...

Иван Трифоныч борет книжку, достает из футляра очки, долго протирает их, поглядывая на свет, потом надевает, солидно кашляет, разворачивает книжку в том месте, где лежит бисерная закладка, проводит по корешку листов ладонью, снова кашляет и, наконец, говорит важным, необычно торже-

ственным голосом:

– Ну-с, прочтем! Вчера остановились на двести шестьдесят первой странице...

Затем он еще раз оглядывает своих слушательниц долгим, строгим взглядом и начинает, глядя в книжку:

– Было море, далекое-далекое. Этого моря нельзя увидеть отсюда никакими способами, даже если влезть на самую высокую гору и смотреть в самую лучшую подзорную трубу, стоящую сто рублей...

Иван Трифоныч перевел дух и посмотрел на окно, в котором отражались и лампа, и он сам, и старуха с чулком...

– По морю, конечно, плавали корабли и возили товары. Ездили купцы и бывали бури. В бурю корабли разбивались о скалистые берега, и тогда матросы и купцы гибли, а которые спасались, те выходили на берег и, мокрые, озябшие, становились на колени и молились богу...

Иван Трифоныч, нагнув палец, медленно переворачивает страницу.

– И вот однажды шел корабль по имени «Крылатый»...

Он усиленно напрягает мозги, стараясь создать что-нибудь интересное, захватывающее; припоминает все, что ему приходилось читать в житиях святых, в газетах, что рассказывал Михайло Михайлович, и сочиняет, сочиняет, перелистывая страницы, в которых написано о мерзких женщинах, малярах, побоищах и о всем том, чего старухе слушать нельзя.

Везли на нем товаров тьму-тьмушую! – медленно выдумывает старик. – И товар был не простой, а выписывал его царь персидский, дочку свою выдавал замуж и готовил приданое. Потому по нынешним временам и в Персии, дикой стране, без приданого не очень-то берут. Там были бриллианты, сапфиры, дорогие шелковые и парчовые ткани по сто рублей за аршин, башмачки, осыпанные жемчугом; а что пуще всего берегли купцы, это был ларчик, спрятанный на самом дне корабля. А в ларчике том, на бархатном футляре, лежала корона из упавших звезд.

Иван Трифоныч постепенно, сам не замечая того, увлекается, забывает переворачивать страницы и смотрит все в одно место; а глаза его оживляются, и картины, одна за другой, вырисовываются в воображении, и он, как умеет, просто, бесхитростно рассказывает их своим слушательницам. Тут действуют и колдуны со своими страшными заговорами и заклятьями, и звери с хвостами в сто верст, и почему-то телефоны. Добродетель борется со злом и после огромных усилий, при помощи благодетельных гениев, побеждает, конечно. И вдруг, в самую интересную минуту, сквозь радугу собравшихся образов, Иван Трифоныч снова слышит робкий голос жены:

– Старик! Старичок! – И вздрагивает...

– Ну, чего еще? – недовольно спрашивает он и сердито смотрит на нее через очки...

Иван Трифоныч очень не любит, когда ему мешают при чтении, потому что, во-первых, можно сбиться, а во-вторых, он уже и сам начинает верить в то, что рассказывает, и кажется ему, будто он действительно читает по книжке, а не сочиняет, и слова, красивые и звучные, свободно вылетают из груди, и кажется, будто рассказываешь о таких случаях, которые действи-

тельно бывали в жизни, только много-много лет тому назад, или, по крайней мере, обязательно будут когда-нибудь.

– Да ведь ты, милый, опять про корабль читаешь... и про корону... – говорит старуха, разматывая клубок. – Ты нам онамеднясь читал об этом. И как водяной дно ему поцарапал, хотел дыру прогрызть, и как монах на коленках молитвы стал читать по молитвеннику. Только монаха-то будто звали Антонием, а не Иваном... И опять, птиц этих не было.

Иван Трифоныч сразу смутился, потерял уверенность, виновато заморгал, потрогал очки и нерешительно заметил:

– Как читал? Не может быть! Не мог я этого читать! Мы до этого еще не доходили!

И он, еще более смутившись, покраснев от волнения, быстро перелистывает книгу, озабоченно разглядывая что-то по страницам, и даже капли пота выступают у него на лбу... «Попался! – думает он. – Ах, дурак старый, дурак старый!» – И вдруг радостно вспоминает, находя что-то в книжке и поднимая очки:

– Тэ-тэ-тэ-тэ-э! – И лицо Ивана Трифоныча снова проясняется в улыбку. – Господи, боже мой! И вправду ошибся! Фу-ты, дело какое! Вот память-то индюшиная! Ведь мы остановились не на сто сорок восьмой странице, а на сто сорок первой! Так, так, так... Фу-ты, господи! Как это меня угораздило!

– Ну, вот то-то! – говорит старуха. – А я слушаю, слушаю и думаю: да ведь это знакомое дело: и корабль, и монах...

– Так, так, так! – соглашается Иван Трифоныч, облегченно вздыхая. – Сбился, сбился! Эка грех! Что значит старость-то! А? И умереть так-то забудешь. Надо со сто шестьдесят восьмой, а я со сто сорок первой! Так, так! Ну, начнем другой читать. Марьюшка! приверни лампу, пожалуйста. Коптит, кажется. Фитиль, верно, перегорел. Эка, господи!

Марья влезает на стул и, озабоченно глядя под колпак, привертывает фитиль. Становится немного темнее, и старик подносит книгу ближе к глазам. Он все еще улыбается своему промаху и время от времени укоризненно потряхивает головой.

– Ну, другой начнем! – повторяет он. – Эка, господи! Нужно со сто семьдесят третьей, а я со сто сорок восьмой! Память!.. Ну, вот другой рассказ – «Утес»! – торжественно возглашает он и медленно начинает:

– Страница сто пятьдесят четвертая! Рассказ «Утес»! На Тихом океане, где живут китайцы и другие разные народы, похожие на калмыков, был утес. Такой большой, что не только порохом, но и динамитом, самым сильнейшим, не взорвешь. И в том утесе один святой человек вырубил пещеру, поставил там себе иконки, зажег лампадку, разложил на аналойчик книги и проводил жизнь в уединении и молитве. Услышав о такой его святой жизни, начал со всех сторон собираться к нему народ и просить исцеления. И он кому давал святую воду, кому образочек, кому ладанцу, а кому прямо говорил строгим голосом: «Не греши!» И грешники горько плакали о делах своих... И вот однажды...

Иван Трифоныч слонит палец, медленно переворачивает лист и в то же время с улыбкою поглядывает на своих слушательниц: старушка вяжет чу-

лок, а Марья подперла лицо ладонью и смотрит куда-то далеко-далеко перед собой, – мечтает, очевидно, думает о святой жизни, о пещерах, о схимниках...

– И вот однажды, так часов в одиннадцать утра, – медленно продолжает Иван Трифоныч, – только стало припекать солнце, к этому самому праведному человеку прилетает орел, могучий такой, страшный, с когтями, и говорит человеческим голосом: «Скажи ты мне, преподобный старец...»

И снова Иван Трифоныч увлекается и забывает переворачивать страницы... Медленный его голос спокойно то повышается, то понижается, и на душу обеих женщин веет покоем, счастьем, и комната кажется еще уютнее. А на дворе все больше и больше разыгрывается метель и рвет ставней; в зале часы отбивают время и чирикает проснувшаяся канарейка; кругом тишина; и только, когда притихает голос рассказчика, слышатся порою тихие, радостные восклицанья:

– Как хорошо! Как хорошо пишет Сашенька!